

Изобретение традиций

Эрик Хобсбаум

В предлагаемом тексте читатель не найдет примеров из опыта Евразии, ни самого упоминания Евразии. И все же мы решили этот текст опубликовать. В оригинале он представляет собой введение к книге, положившей начало изучению процесса изобретения традиций. Отступая от принятого нами принципа, — давать место на страницах нашего журнала только тем материалам, в которых рассматривается происходящее или происходившее в евразийском пространстве, — мы руководствовались следующими соображениями. Во-первых, изобретение традиций становится все более популярным занятием в самых разных городах и весях бывшего Советского Союза. Во-вторых, рефлексия по этому поводу у самих «изобретателей» обычно отсутствует. Получается, что ни творцы традиций, ни те, кому предстоит воспринимать и усваивать «сотворенные» традиции, не знают о механизмах и закономерностях их изобретения. Знает только маленькая кучка специалистов; они, однако, обычно ограничиваются отсылкой к той самой работе, из которой мы взяли для перевода вводную статью. Между тем — и это в-третьих, — статья эта, написанная патриархом английской историографии, помимо содержательной глубины обладает еще и тем несомненным достоинством, что понятна любому образованному и просто думающему человеку.

Перевод осуществлен с согласия автора, издательства и Past and Present Society по изданию: The Invention of Tradition. Edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger. Cambridge University Press, 1983. P. 1–14.

Редакционный совет

Мало что выглядит более древним, уходящим в незапамятное прошлое, чем тот пышный церемониал, которым окружает себя британская монархия в своих публичных проявлениях. Между тем, как доказывает специальная глава в нашей книге, в своем нынешнем виде церемониал этот сложился в конце XIX и в XX веке. «Традиции», которые кажутся старыми или претендуют на то, что они старые, часто оказываются совсем недавнего происхождения и нередко — изобретенными. Кто знаком с жизнью колледжей старинных английских университетов, тому нетрудно представить себе подобные «традиции». Это «традиции» локальные, местного масштаба, хотя благодаря современным средствам массовой информации некоторые из них,

например, ежегодный фестиваль «Девяти рождественских проповедей и гимнов», устраиваемый в сочельник в капелле Королевского колледжа в Кембридже, становятся широко известными. Наблюдения над ними и послужили отправной точкой для участников конференции, организованной историческим журналом «Прошлое и настоящее», а материалы конференции, в свою очередь, составили основу настоящей книги.

Термин «изобретенная традиция» используется здесь в широком, но достаточно точном смысле. Им охватываются как «традиции» действительно изобретенные, сконструированные и формально институционализированные, так и те, появление которых проследить труднее, но которые тем не менее быстро утверждались в течение короткого, поддающегося датировке, периода времени, исчисляемого, пожалуй, всего несколькими годами. Рождественское радиообращение короля или королевы, введенное в практику в 1932 году, представляет пример традиций первого рода; появление и развитие ритуала, связанного с финалом кубковых игр в Британском футбольном союзе, — пример второго. Очевидно, что не все такие традиции превращаются в постоянные; но нас в первую очередь интересуют не их шансы на выживание, а их возникновение и становление.

«Изобретенная традиция» — это совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение. Последнее автоматически предполагает преемственность во времени. И действительно, всюду, где это возможно, такие практики стараются обосновать свою связь с подходящим историческим периодом. Яркий пример — сознательный выбор готического стиля при перестройке здания британского парламента в XIX веке или принятое после Второй мировой войны не менее сознательное решение восстановить зал заседаний парламента в основном в соответствии с его прежним планом. Историческое прошлое, к которому «подсоединяют» новую традицию, необязательно должно быть очень протяженным, уходящим во мглу времен. У революций и «прогрессивных движений», по определению порывающих с прошлым, есть свое собственное приличествующее им прошлое. Правда, оно может обрываться на определенной дате, такой, как 1789 год.

Специфика «изобретенных» традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивная. Говоря коротко, эти традиции представляют собой ответ на новую ситуацию в форме отсылки к ситуации старой. Или же они создают себе прошлое путем их как бы обязательного повторения. Тут виден контраст между постоянными изменениями и инновациями в современном

мире и попыткой структурировать, как минимум, часть социальной жизни в этом мире как нечто неменяющееся и неизменное. Это и делает «изобретение традиции» столь интересным предметом для историков, занимающихся изучением двух последних столетий.

Понимаемая таким образом «традиция» должна быть четко отделена от «обычая», господствующего в так называемых традиционных обществах. Цель и отличительная характеристика «традиций», в том числе и изобретенных, — это неизменность. Прошлое, на которое они ссылаются, налагает на людей фиксированные (как правило, формализованные) практики, например ту же практику повторения. «Обычай» традиционных обществ имеет двойную функцию: он и мотор, и маховое колесо. Он не препятствует изменениям и нововведениям до тех пор, пока они выглядят сопоставимыми с прежними изменениями и нововведениями или идентичными им. Требование соответствия тому, что уже было, сильно их ограничивает; но оно же позволяет давать всякому желаемому изменению (или, наоборот, сопротивлению новшествам) санкцию прецедента, социальной преемственности, естественного закона истории. Исследователи крестьянских движений знают, что претензии той или иной деревни на право пользования общинными землями «по обычаю, действующему с незапамятных времен», очень часто отражают не действительный исторический факт, а баланс сил, сложившийся в постоянной борьбе деревни с землевладельцами и другими деревнями. Исследователи британского рабочего движения знают, что профессиональное или цеховое «право» не обязательно восходит к древней традиции; зачастую это любое, сколь угодно недавнее право, которое рабочим удалось утвердить на практике и которое они пытаются распространить или защитить, приписывая ему существование от века. «Обычай» не может быть чем-то неизменным, потому что даже в традиционных обществах не может быть неизменной жизнь. Для обычного или общинного права как раз характерно сочетание гибкости содержания с формальной приверженностью прецеденту. Разница между «традицией» и «обычаем» в нашем понимании этих слов хорошо иллюстрируется следующим образом: в суде «обычай» — это то, что судьи делают, тогда как «традиция» (и в данном случае именно изобретенная традиция) — это парики, мантии и другие формальные принадлежности и ритуализированные действия, сопутствующие собственно действию. Упадок «обычая» неизбежно меняет и «традицию», с которой он, как правило, тесно связан.

Второе, менее важное, различие, которое необходимо провести, — это различие между «традицией» в нашем ее понимании и заведенным порядком или правилом. По своей сути порядок и правило не обладают сколько-нибудь значительной ритуальной или символической функцией, хотя и могут ее обрести случайным образом. Любое обще-

ственно значимое действие, которое надо выполнять снова и снова, предрасполагает к тому, чтобы из соображений удобства и эффективности был создан некий свод правил его выполнения и чтобы де-факто или де-юре он стал сводом правил формальных, обеспечивающих точную передачу необходимых навыков новым исполнителям. Это относится как к прежде неизвестным (таким, например, как работа авиапилота), так и к давно знакомым видам деятельности. После промышленной революции обществу приходилось изобретать, вводить или усложнять хитросплетения таких правил гораздо чаще, чем до нее. А поскольку лучше всего они срабатывают при условии, что следование им становится привычкой, автоматически совершаемой процедурой или даже чисто рефлекторным действием, они должны быть совершенно неизменными, что может, кстати, помешать выполнению другого необходимого условия всякой практической деятельности — способности справляться с непредвиденными и непривычными обстоятельствами. Эта хорошо знакомая слабость всякой рутины, всякой бюрократизации особенно заметна на уровне подчиненных, где неизменное исполнение рассматривается как самое эффективное исполнение.

Такие своды правил и процедур не являются «изобретенной традицией», так как по своим функциям, а значит и по обоснованию, относятся скорее к области технического, чем идеологического (по марксистской терминологии — принадлежат базису, а не надстройке). Создаются они для того, чтобы инструктировать в практических действиях, и под давлением опять-таки практических нужд их с легкостью модифицируют или вовсе от них отказываются. (При этом всегда остается место для инерции — с течением времени ее обретает любая практика, — равно как и для сопротивления любым нововведениям людей, привыкших действовать определенным образом.) Разница между ними и «традицией» особенно хорошо заметна там, где они сосуществуют с последней. С точки зрения здравого смысла человеку, занимающемуся верховой ездой, надевать твердую шляпу так же полезно, как шлем мотоциклисту или стальную каску солдату. А вот когда надевают твердую шляпу строго определенного покроя, да еще обязательно вместе с красным камзолом, — тогда мы имеем дело со смыслом совсем иного рода. Будь это не так, изменить «традиционный» костюм английского охотника на лисиц было бы не труднее, чем ввести (после того, как доказано, что таким образом обеспечивается более действенная защита) новую форму каски в армии — довольно консервативном институте. Вообще «традиции» и прагматические правила и установления находятся по отношению друг к другу в обратно пропорциональной зависимости. «Традиции» дают слабину в том случае, когда, скажем, запреты на ту или иную пищу оправдываются прагматическими соображениями (например, либерально мыслящие

евреи объясняют, что оставленный их предками завет не употреблять свинину возник по причине гигиенических соображений). И наоборот, вещи и действия полностью освобождаются для ритуального или символического использования тогда, когда утрачивают практический смысл. Шпоры кавалерийских офицеров куда более значимы с точки зрения «традиции», когда их обладатели спешены; зонтики гражданских чиновников утрачивают свой символический смысл, когда они раскрыты (то есть используются по прямому назначению); парики судейских вряд ли бы обрели свое нынешнее значение, если бы все прочие люди не перестали носить парики.

Изобретение традиций, о которых здесь идет речь, — это процесс формализации и ритуализации. Его отличают также отсылки к прошлому — пусть даже только в форме предписываемого повторения. Как на самом деле создавались такие ритуально-символические комплексы, не было в должной мере исследовано историками. Многие еще остается довольно-таки неясным. Легче всего процесс описывается тогда, когда инициатива конструирования традиции принадлежит одному человеку, как это было с бойскаутами, придуманными Баден-Пауэллом. Пожалуй, почти так же легко он прослеживается в случае с вводимыми и планируемыми церемониалами: тогда велика вероятность, что он хорошо задокументирован, как это было с нацистским символизмом на партийных съездах в Нюрнберге. Видимо, куда труднее проследить за процессом в ситуациях, когда такие традиции отчасти изобретались, отчасти естественно развивались группами частных лиц (здесь вероятность отражения процесса в бюрократической отчетности невелика) либо на протяжении какого-то времени утверждались неформальным образом в учреждениях типа парламента или в профессиональных средах типа среды юристов. Однако проблема тут не только в источниках, но и в исследовательских техниках. Правда, в нашем распоряжении имеются эзотерические дисциплины, специально занимающиеся символизмом и ритуалом, такие как геральдика или изучение литургии, и варбургские исторические дисциплины. К сожалению, ни те, ни другие обычно не знакомы историкам индустриальной эпохи.

Нет, наверное, ни одного периода времени и ни одного места, из изучаемых историками, где нельзя бы было найти случаев «изобретения» традиции в описанном выше смысле. Но чаще всего традиция изобреталась в ходе радикального преобразования общества, когда быстро разрушались социальные формы, под которые подстраивались старые традиции, а взамен возникали такие формы, к которым эти традиции уже невозможно было приложить. Или когда старые традиции уничтожались потому, что и они сами, и поддерживающие их люди и институты не обнаруживали достаточную приспособляемость и гибкость. Могли они погибнуть и по какой-то другой причине; но, если

говорить коротко, всегда, когда происходили достаточно большие и скорые изменения, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Такие именно изменения были особенно значительными в последние двести лет, и поэтому резонно ожидать, что случаи внезапной формализации новых традиций будут особенно многочисленными в этот период. А это, между прочим, означает — в противовес тому, что полагали либералы XIX века или недавние сторонники теории «модернизации», — что подобные формализации происходят не в одних только «традиционных» обществах, но в той или иной форме и в обществах «современных». В широком смысле предположение справедливо; только надо быть поосторожнее с другим предположением, что более старые общественные формы и властные структуры и, соответственно, связанные с ними традиции не способны к адаптации и быстро становятся нежизнеспособными и что появление «новых» традиций обусловлено только тем, что невозможно использовать или приспособить старые.

Адаптация совершается и путем достижения старых целей в новых условиях, и через использование старых моделей в новых целях. Случается так, что в ней нуждаются старые институты с установившимися функциями, обоснованиями, почерпнутыми в прошлом, и ритуальными идиомами и практиками. Таковы: католическая церковь, столкнувшаяся с новыми политическими и идеологическими вызовами, со значительными сдвигами в составе верующих (сильная феминизация прихожан и духовенства)¹; профессиональные армии при переходе к всеобщей воинской повинности; древние судебные институты, теперь работающие в ином контексте, а иногда и с изменившимися функциями в новом контексте. Сюда же относятся учреждения, номинально не изменившиеся, но фактически превратившиеся в нечто совсем другое по сравнению с тем, чем они были раньше, например университеты. Так, Бансон² был проведен анализ причин, по которым после 1848 года внезапно приходит в упадок традиция массовых выходов немецких студентов из университетов (по причине конфликта или в демонстративных целях). Оказалось, что тут сыграли свою роль и изменения в устройстве самих университетов, и «постарение» студенческой «популяции», что вместе с ее обуржуазиванием уменьшило трения между горожанами и студентами и мятежный дух последних, и новая практика свободных переходов из университета в университет, обусловленные ею перемены в студенческих союзах и прочие факторы³. Во всех этих случаях новое не перестает быть новым из-за того, что ему удается рядиться в одежды седой старины.

С нашей точки зрения более интересным представляется использование старинных материалов для того, чтобы сконструировать изобретенную традицию нового типа, служащую новым целям. Большие запасы таких материалов накоплены всяким обществом, хорошо раз-

работанный язык символической практики и коммуникации всегда доступен. Иногда новые традиции могут быть легко привиты к старым; иногда они вырабатываются с помощью заимствований из доверху наполненных хранилищ официального ритуала, символизма и моральной проповеди, оставленных религией, королевским двором, фольклором и масонством (последнее само было поначалу изобретенной традицией большой символической силы). Рассмотрим развитие швейцарского национализма, по времени (XIX век) совпавшее с формированием современного федеративного государства. Оно было блестяще исследовано Рудольфом Брауном⁴, обладавшим особым преимуществом — знанием этнологии (*Volkskunde*), очень подходящей для таких исследований. Благо изучал он ее в стране, в которой процесс обновления этой дисциплины не был отброшен назад как в Германии, где она попала в идеологическую связку с преступлениями нацистов. Существовавшие обычные традиционные практики — исполнение народных песен, физические состязания, стрельбы — были модернизированы, ритуализированы и институционализированы таким образом, чтобы служить новым национальным задачам. Традиционный песенный фольклор был пополнен новыми песнями, зачастую сочиненными школьными учителями с использованием старых идиом и затем включавшимися в репертуары хоров. Содержание их было патриотически-прогрессистское («Нация, нация — как славно звучит это слово!» — *Nation, Nation, wie voll klingt der Ton*), хотя в нем нашлось место и явно ритуальным элементам из религиозных гимнов. Положение о Федеральном песенном фестивале — не напоминает ли оно нам о валлийских музыкально-поэтических состязаниях *eisteddfodau*? — провозглашает, что целью его является «развитие и улучшение народного пения, пробуждение возвышенных чувств к Богу, Свободе и Стране, союз и побратимство друзей Искусства и Родины». (Слово «улучшение» как раз и отражает столь характерное для XIX века стремление к «прогрессу».)

Вокруг и по поводу фестиваля сформировался мощный ритуальный комплекс: фестивальные павильоны, сооружения для подъема и вывешивания флагов, храмики для пожертвований, процессии, колокольные звоны, живые картины, оружейные салюты, правительственные делегации, приветствующие участников, обеды, тосты, оратории... И для всего этого опять были использованы старые материалы.

В этой новой фестивальной архитектуре несомненны отзвуки барочных празднеств и представлений, барочной пышности. И как на празднествах времен барокко, государство и церковь сливаются на высшем уровне, так что сплав религиозных и патриотических элементов заявляет о себе и в этих новых формах хорового пения, стрельбы и гимнастических состязаний⁵.

Здесь мы не будем обсуждать, сколь много новые традиции могут заимствовать из старых материалов, столь далеко заходят творцы традиций в процессе изобретения нового языка или символа, насколько они при этом преступают допустимые пределы использования старого словаря символов. Ясно только, что из-за изобилия политических институтов, идеологических движений и групп — не в последнюю очередь националистических — приходилось изобретать саму историческую преемственность, например, путем продления древнего прошлого за пределы его действительной исторической протяженности. Делалось это либо с помощью полувыдумки-полуправды (вспомним о Боадигее, Верцингеториксе, хевруске Арминиусе), либо с помощью подделок (Оссиан, чешские средневековые рукописи). Ясно также, что вместе с национальными движениями и государствами возникли и совершенно новые символы и эмблемы: государственные гимны (самый ранний из них — британский, появившийся в 1740 году), государственные флаги (в большинстве своем представляющие собой различные вариации на тему французского триколора, оформившегося в 1790—1794 годах) или же различные персонификации «нации» в символе или изображении, либо официально принятые, как французская Марианна и дева Германия, либо неофициальные, как карикатурные стереотипы Джона Булля, тощего янки Дяди Сэма и «немца Михеля».

Не должны мы упускать из виду и такую примечательную особенность, как разрыв в преемственности. Так, он виден иногда даже в самых, казалось бы, традиционных, избитых литературных жанрах, в общих местах (*topoi*), уходящих корнями в подлинную древность. Если прав Ллойд⁶, то в Англии рождественские гимны перестали создаваться с XVII века: их заменили книжные сборники гимнов в духе сочинений Уоттса и Уэлсли (правда, известны и народные модификации последних, бытовавшие преимущественно в сельской местности среди ранних методистских сект). Тем не менее гимны оказались первой разновидностью песенного фольклора, возрожденной собирателями из средних классов, и именно им предстояло занять свое место «в прежде не существовавшем окружении из церковных, профессиональных и женских институтов». А уже оттуда усилиями «уличных певцов или безголосых мальчишек, распевающих у дверей в вечной надежде на вознаграждение», они распространились в новой народной городской среде. С этой точки зрения фраза «Бог да вознаградит вас, джентльмены» настолько же старая, насколько и новая. Подобные же разрывы в преемственности отличают и те движения, что сознательно подают себя как «традиционалистские» и апеллируют к группам, всеми признаваемыми за хранителей исторической преемственности и традиции, например к крестьянам⁷. На деле само появление движения в защиту или за возрождение традиции, будь оно «традиционалистским» или

каким-то другим, указывает на нарушение преемственности. Причем движения эти, со времен романтизма увлекающие интеллигенцию, никогда не развивают и даже не сохраняют живое прошлое (понятно, за исключением тех случаев, когда учреждаются специальные природно-человеческие убежища в виде изолированных уголков архаической жизни) — они должны стать «изобретенной традицией». С другой стороны, сила и приспособляемость подлинных традиций не зависят от процесса «изобретения традиции». Где живы старые формы жизни, нет нужды ни в возрождении, ни в изобретении традиций.

В то же время следует иметь в виду, что там, где традиции изобретаются, это зачастую делается не потому, что старые формы больше нежизненны или недоступны, а потому, что их сознательно не используют и не приспособливают к новым условиям. Так, в XIX веке либеральная идеология общественных перемен, ратовавшая за разрыв с традицией и радикальное обновление общества, не смогла создать ничего подобного социальным и властным связям, которые в предшествующие эпохи считались чем-то само собой разумеющимся, и вынуждена была заполнять образовавшийся вакуум вновь изобретенными установлениями. В отличие от либералов фабриканты-тори Ланкашира вполне преуспели в использовании старых связей к своей выгоде и тем самым доказали, что эти связи еще действовали в новой среде промышленного города⁸. Конечно, нельзя было не признать, что в долгосрочной перспективе старые образцы жизни не смогут приспособиться к революционным изменениям в обществе; но такое признание не снимало проблем, возникавших из-за того, что эти образцы отвергались также и на краткосрочную перспективу теми, кто считал их препятствиями на пути прогресса или, того хуже, был их воинствующим противником.

Это не мешало сторонникам нового создавать свои собственные изобретенные традиции. Подходящий пример здесь — масонство. Тем не менее общая враждебность ко всему иррациональному, к предрассудкам и обычаям, если не прямо унаследованным от темного прошлого, то напоминающим о нем, делала нетерпеливых поклонников просветительских идеалов — либералов, социалистов, коммунистов — невосприимчивыми как к старым традициям, так и к новым. Социалисты сами не могли понять, как это у них образовался праздник Первого мая. А вот национал-социалисты эксплуатировали традиции с прямо-таки литургической искушенностью и рвением, сознательно манипулируя символами⁹. В Британии же в либеральную эпоху их в лучшем случае лишь терпели, делая таким образом вынужденную уступку иррационализму низших классов. Господствующее отношение представляло собой смесь враждебности и терпимости к собраниям и ритуалам, устраивавшимся квакерскими объединениями. «Ненужные» расходы (затраты на процессии, знамена, разного рода регалии)

были вообще запрещены по закону. В то же время признавалось, что сами ежегодные празднества запрещать не стоит, поскольку «значительное тяготения к таким мероприятиям, особенно в среде сельского населения, нельзя отрицать»¹⁰. Суровый индивидуалистический рационализм господствовал не только в виде экономического расчета, но и как общественный идеал. В главе 7 мы покажем, что произошло, когда его ограниченность стала в возрастающей степени осознаваться.

Заклучим наши вводные замечания несколькими общими наблюдениями по поводу традиций, изобретенных в период, последовавший за промышленной революцией.

Представляется, что традиции эти были трех, отчасти друг на друга накладывающихся, типов. Традиции первого типа устанавливали или символизировали социальную связь, членство в группах, подлинных или искусственных общинах. Традиции второго типа вводили институты, статусы и отношения, обусловленные властью, придавали им «законную» силу. Главной задачей традиций третьего типа была социализация — запечатление в сознании верований, систем ценностей и правил поведения. Хотя среди изобретавшихся определенно присутствовали традиции второго и третьего типа (вроде символизировавших подчинение властям в Британской Индии), в порядке гипотезы можно утверждать, что преобладающими были традиции первого типа. Предполагалось, что функции традиций других типов вытекают из ощущения идентичности с «общиной» и/или внутренне присущи институтам, представлявшим, выражавшим и символизировавшим идентичность с «нацией».

Сложность заключалась в том, что такие большие социальные общности, как «нация», явно не были органическими системами (*Gemeinschaften*), ни даже системами общепринятых социальных рангов. На фоне социальной мобильности, классовых конфликтов и господствующей идеологии традициям, сочетавшим в себе коллективизм и выраженное неравенство формальных иерархий (как в армии), было очень непросто утвердить свои притязания на всеобщность. Только традициям третьего типа не особенно мешала эта трудность, так как всеобщая социализация прививала одни и те же ценности каждому гражданину, каждому члену нации, каждому подданному короны. Функционально специфические способы социализации в разных социальных группах (например, в отличной от других учащихся группе учеников закрытых частных школ) обычно тоже не сталкивались между собой. С другой стороны, поскольку изобретенные традиции вводили в мир контракта статус, в мир равенства по закону неравенство высших и низших по положению, они не могли действовать напрямую. Они протаскивали все это контрабандным путем — как, например, при изменении ритуала коронации в Британии¹¹ — через формальное

символическое согласие общества на социальную организацию, предполагающую фактическое неравенство. Следует заметить, что чаще удавалось раздувать дух корпоративного превосходства в элитах (особенно когда их приходилось пополнять из числа тех, кто к ним не принадлежал по рождению и положению), чем прививать чувство покорности низам. Так сказать, некоторые поощрялись чувствовать себя более равными, чем все остальные. Это достигалось посредством уподобления элит добуржуазным правящим или авторитетным группам то в милитаристско-бюрократической форме, характерной для Германии, где образцом послужили общества студентов-дуэлянтов, то по немилитаризованной модели «морального джентри», культивировавшейся в английских частных школах. Корпоративный дух, уверенность в себе и в своем лидерстве могли прививаться и противоположным образом — с помощью более эзотерических «традиций», в которых акцент делался на замкнутость касты высших чиновников (во Франции или среди белых в колониях).

Недостаточно признать, что основным типом изобретенных традиций были традиции коммуналистские — надо еще изучить их природу. Прояснить различия — если таковые имеются — между изобретенными и старыми традициями может антропология. Пока же позволим себе просто заметить, что в то время как в традициях групп, частичных по своему социальному масштабу, как правило, широко представлены ритуалы перехода (инициация, возвышение, отставка, смерть), в традициях псевдообщностей, по замыслу всеобъемлющих (нации, страны), этого обычно не было и главным образом потому, что им предписывался вечный и неизменный характер, как минимум, с момента основания. Но это не означает, что новые политические режимы и обновленческие движения вообще не пытались найти собственные эквиваленты традиционным религиозным ритуалам перехода (свидетельства тому — гражданский брак и гражданские похороны).

Бросается в глаза одно различие между старыми и изобретенными установлениями. Первые были специализированными и сильно обязывающими социальными практиками, вторые же склонны оставаться неспециализированными и не прояснять сущность тех ценностей, прав и обязательств, вытекающих из членства в группе, которые они прививают: «патриотизма», «верности», «долга», «соблюдения правил игры», «духа школы» и тому подобного. Но если содержание британского патриотизма или «американизма» было явно плохо очерчено (хотя некоторое уточнение достигалось с помощью комментариев по случаю исполнения ритуалов), то ритуалы, символизирующие это содержание, были воистину принудительными. Так, и при исполнении государственного гимна в британских школах, и при подъеме флага в американских надо обязательно вставать. Ключевое значение этому

придавалось, видимо, чтобы разработать эмоционально и символически заряжающие знаки принадлежности к клубу, а не устав и цели самого клуба. Значимость этих знаков заключается как раз в их расплывчатой всеобщности.

Государственный флаг, гимн и герб — три символа, посредством которых независимая страна заявляет о своей идентичности и суверенности. Как таковые, они немедленно внушают чувства уважения и преданности. В них отражаются полнота прошлого, национальной мысли и культуры¹².

В этом смысле один наблюдатель был прав, заметив в 1880 году: «теперь солдаты и полицейские носят свои знаки отличия для нас». Правда, он не предвидел, что в эпоху массовых движений, которая была уже не за горами, эти знаки снова станут принадлежностью обычных граждан¹³.

Второе наблюдение, представляющееся мне очевидным, заключается в том, что, несмотря на их многочисленность, изобретенные традиции не заполнили и малой части пространства, освободившегося вследствие векового упадка старых традиций и обычаев. Впрочем, этого и следовало ожидать в обществах, в которых прошлое в возрастающей степени становилось все менее подходящим образцом для многих форм человеческого поведения. В частной жизни большинства людей и в самодостаточной жизни маленьких субкультурных групп даже изобретенные традиции XIX и XX столетий занимали и занимают куда меньше места, чем старые традиции занимали в жизни старых аграрных обществ¹⁴. В XX веке «то, что было», определяет структуру дня, времени года или жизненного цикла западных мужчин и женщин намного меньше, чем то было у их предков, и намного слабее, чем то делают внешние импульсы, рождаемые экономикой, технологией, государственной бюрократической организацией, политическими решениями и другими силами, которые и не опираются на «традицию» в нашем смысле этого слова, и не развивают ее.

Это обобщение неприменимо, однако, к области публичной жизни (включая сюда до некоторой степени и общественные формы социализации, такие, как государственные школы и масс-медиа). Нет никаких реальных признаков того, что неотрадиционные практики, связанные либо с деятельностью сообществ людей на государственной службе (в вооруженных силах, судах, возможно, и в общественных службах), либо с гражданством, ослабевают. Ситуации, напоминающие людям об их гражданстве (например, выборы), постоянно ассоциируются с символами и полуритуальными действиями, большинство из которых — флаги, изображения, церемонии, музыка — являются

изобретенными историческими новшествами. Поскольку традиции, возникавшие после промышленной и Французской революций, заполняли имевшиеся пустоты, они оставались в силе, во всяком случае, до настоящего времени.

В заключение можно было бы спросить: почему историки должны уделять внимание этим феноменам? В определенном смысле вопрос этот излишний: растущее число историков это просто делает, как о том свидетельствует содержание нашей книги и приводимые в ней ссылки. Поэтому вопрос должен быть сформулирован по-другому: какую пользу приносит историкам исследование процесса изобретения традиций?

Прежде всего, изобретенные традиции — существенные симптомы и индикаторы. Без них мы не заметили бы некоторые проблемы, не смогли бы установить и датировать некоторые изменения. Они — свидетельства. Трансформация германского либерализма из его старой либеральной разновидности в новую, империалистическую и экспансионистскую, прослеживается более точно благодаря замене к 1890-м годам прежних черно-красно-золотистых цветов, принятых немецким гимнастическим движением, на новые, черно-бело-красные. История финалов Британского футбольного кубка рассказывает нам немало такого о развитии культуры городского рабочего класса, чего более привычные данные и источники рассказать не могут. В то же время изучение изобретенных традиций не должно быть отделено от более широких исследований по истории общества, в противном случае оно мало что даст помимо простой фиксации такого рода практик.

Во-вторых, изобретенная традиция проливает свет на отношение человека к прошлому, то есть на предмет историка и на его ремесло. Ведь для узаконивания тех или иных действий и для того, чтобы укрепить групповую солидарность, все изобретенные традиции используют, насколько это им удастся, историю. Нередко история становится настоящим символом борьбы, как это было в 1889 и 1896 году в Южном Тироле, когда там возникало противостояние по поводу памятников Вальтеру фон Фогельвейде и Данте¹⁵. Даже революционные движения подкрепляли свои нововведения ссылками на «народное прошлое» (саксы против норманнов, «наши предки галлы» против франков, восстание Спартака), на революционную традицию («Немецкий народ также имеет свою революционную традицию» — *Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition*, — утверждал Энгельс в первой же фразе своей работы «Крестьянская война в Германии»¹⁶) и на собственных героев и мучеников. Книга Джеймса Конноли «Труд в истории Ирландии» являет собой прекрасный образец соединения всех трех тем. Элемент изобретения в этих случаях особенно ясен, потому что история, делающаяся частью идеологии, одним из источников

знаний о себе нации, государства или движения, — это не та история, что действительно хранится в народной памяти. Это история отобранная, написанная, проиллюстрированная, популяризированная и в установленном порядке доведенная до людей теми, кто и должен все это делать. Специалисты по устной истории часто замечали, что в воспоминаниях людей старшего поколения всеобщая стачка 1926 года играет куда меньшую и куда менее драматическую роль, чем ожидали интервьюеры¹⁷. Уже проанализировано, как Третья республика способствовала формированию имиджа Французской революции¹⁸. Тем не менее все историки, каковы бы ни были их цели, вовлечены в этот процесс, поскольку вносят свой вклад, осознанно или неосознанно, в создание, разрушение или переструктурирование образов прошлого, принадлежащих не только миру специалистов, но и общественной сфере человека как политического существа. Они могли бы, как минимум, постоянно помнить об этой составляющей их деятельности.

Хотелось бы подчеркнуть особый интерес «изобретенных традиций» для историков нового и новейшего времени. Эти традиции в высшей степени подходят к сравнительно недавней исторической инновации — «нации» и к ассоциируемым с нею явлениям — национализму, национальному государству, государственным символам, национальной истории и прочему. Все это держится на социальной инженерии, зачастую целенаправленной и всегда ведущей к новому, хотя бы потому, что в истории утверждению нового предшествует его введение. Независимо от того, насколько выражена преемственность в истории евреев или ближневосточных мусульман, израильский и палестинский национализмы и нации должны считаться новшествами, так как сама концепция национального государства в его нынешнем виде вряд ли была мыслима в этом регионе сто лет назад и вряд ли могла обрести реальные очертания до окончания Первой мировой войны. Литературные национальные языки, на которых пишут и тем более говорят не одни только немногочисленные элиты, по большей части являются искусственными конструктами, созданными в разное время, но все — недавно. Как совершенно правильно заметил французский историк фламандского языка, фламандский, изучаемый сейчас в Бельгии, — вовсе не тот язык, на котором матери и бабушки фламандцев разговаривали со своими детьми: он только фигурально может быть назван «материнским языком» и уж никак не буквально. Нас не должен вводить в заблуждение странный, но объяснимый парадокс: современные нации со всем их громоздким снаряжением, как правило, претендуют на нечто прямо противоположное их новизне и искусственности, на то, что корнями своими они уходят в глубокое прошлое и являются человеческими сообществами столь «природными», что для их определения достаточно простого самоутверждения. Какое бы

содержание с точки зрения исторической и любой другой преемственности ни воплощалось в понятиях «Франция» и «французский» (а то, что оно есть, никто не собирается отрицать), сами эти понятия включают сконструированный или «изобретенный» компонент. И как раз потому, что столь многое из субъективного представления о современной «нации» состоит из подобных конструкторов и ассоциируется с соответствующими вполне недавними символами и с соответствующим образом выдержанным дискурсом («национальной историей»), невозможно адекватно исследовать феномен национального, не обратив при этом пристального внимания на «изобретение традиции».

Наконец, исследование процесса изобретения традиций должно вестись как междисциплинарное, объединять историков, социальных антропологов и многих других специалистов, изучающих общество. Оно не может быть проведено должным образом без такого сотрудничества. Настоящая книга представляет в основном вклад историков. Надеюсь, что не только историки сочтут ее полезной.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., например: *Tihon G.* Les religieuses en Belgique du XVIIIe au XXe siècle: Approche statistique // *Belgisch Tijdschrift v. Nieuwste Geschiedenis / Revue Belge d'Histoire Contemporaine*, 1976. Vol. VII. P. 1–54.

² *Bahnsen Karsten.* Akademische Auszüge aus Universitäts und Hochschulorten. Saarbrücken, 1973.

³ В XVIII веке таких выходов было 17, между 1800 и 1848 годами — 50, а с 1848 по 1973 — только 6.

⁴ *Braun Rudolf.* Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet in 19. und 20. Jahrhundert. Erlenbach — Zürich, 1965. Ch. 6.

⁵ Op. cit. P. 336–337.

⁶ *Lloyd A. L.* Folk Song in England. London, 1969. P. 134–138.

⁷ Другое дело — возрождение традиции с такими целями, которые в действительности свидетельствуют о ее упадке. «Возрождение» фермерами в самом начале этого века их старой, различающейся от местности к местности, одежды, народных танцев и праздничных ритуалов не имеет отношения ни к их обуржуазиванию, ни к традиционализму. Со стороны это выглядело как ностальгия по старым временам господства культуры, которая тогда быстро уходила в прошлое; а на самом деле было демонстрацией классовой идентичности, посредством которой преуспевающие фермеры стремились обособить себя и по горизонтали — от горожан, и по вертикали — от мелких арендаторов, сельских ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. См.: *Christiansen Palle Ove.* Peasant Adaptation to Bourgeois Culture? Class Formation and Cultural Redefinition in the Danish Countryside // *Ethnologia Scandinavica*, 1978. P. 128. См. также: *Lewis G.* The Peasantry, Rural Change and Conservative Agrarianism: Lower Austria at the Turn of the Century // *Past & Present*, 1978. No. 81. P. 119–143.

⁸ *Joyce Patrick.* The Factory Politics of Lancashire in the Later Nineteenth Century // *Historical Journal*, 1965. Vol. XVIII. P. 552–553.

⁹ *Hartwig Helmut.* Plaketten zum 1. Mai 1934–1939 // *Aesthetik und Kommunikation*, 1976. Vol. VII. No. 26. P. 56–59.

¹⁰ *Gosden P. H. J. H.* The Friendly Societies in England, 1815–1875. Manchester, 1961. P. 123, 119.

¹¹ *Bodley J. E. C.* The Coronation of Edward the VIIth: A Chapter of European and Imperial History. London, 1903. P. 201, 204.

¹² Официальный комментарий правительства Индии. Цит. по: *Firths R.* Symbols, Public and Private. London, 1973. P. 341.

¹³ *Marshall Frederick.* Curiosities of Ceremonials, Titles, Decorations and Forms of International Vanities. London, 1880. P. 20.

¹⁴ Не говоря уже о трансформации устойчивых ритуалов, знаков единообразия и сплоченности в быстро меняющуюся моду в одежде, языке, социальном поведении, что в особенности характерно для молодежной культуры в развитых странах

¹⁵ *Cole John W., Wolf Eric.* The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. New York and London, 1974. P. 55.

¹⁶ О том, насколько в рабочих библиотеках Германии были популярны книги на эту и другие «боевые» исторические темы, см.: *Steinberg H.-J.* Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem ersten Weltkrieg. Hanover, 1967. P. 131–133.

¹⁷ Есть немало свидетельств тому, что люди, пребывающие «внизу», видят переживаемые ими исторические события не так, как люди «наверху», и тем более не так, как историки. Само это явление может быть названо «синдромом Фабрицио» — по имени героя «Пармской обители» Стендаля.

¹⁸ См., например: *Gérard Alice.* La Révolution Francaise: Mythes et Interprétations, 1789–1970. Paris, 1970.

Перевод с английского Сергея Панарина